А. В. ЮДИН

Юдин Алексей Валериевич
кандидат филологических наук
профессор кафедры языков и культур
на должности главного доцента,
Гентский университет (Universiteit Gent)
Blandijnberg 2, Gent, 9000, Belgium.
Тел.: +32 9 264 78 63
E-mail: Oleksiy.Yudin@UGent.be

МАРИНА МНИШЕК ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ XVIII — НАЧАЛА XX В.

Аннотация. Рассмотрен образ Марины Мнишек в сочинениях важнейших российских историков XVIII — начала XX в.: Татищева, Щербатова, Карамзина, Бутурлина, Соловьева, Костомарова, Иловайского, Ключевского, Платонова. В плане методологии статья опирается на деконструктивистскую эпистемологию истории. Одновременно в ней используются подход и терминологический аппарат когнитивной этнолингвистики (в частности, идея так называемого профилирования понятий). Описывающий исторические события текст рассматривается как тип дискурса, как своего рода литературный жанр и как репрезентация некоторой мировоззренческой системы и связанных с ней устойчивых оценок и стереотипных представлений. В статье выявлены и описаны профили образа Марины Мнишек и версии рассказа о ней, представленные у рассмотренных историков: патриархально-рационалистический, сентименталистский, романтический, православно-фундаменталистский. Объясняется отсутствие образа Марины Мнишек в позитивистских исследованиях.

Ключевые слова: Марина Мнишек, Смутное время, российская историография, эпистемология

В настоящей работе рассматривается образ Марины Мнишек (Мнишех, Marianna или Maryna Mniszchówna) в сочинениях избранных российских историков XVIII в. — рубежа XIX–XX вв. Марина Мнишек была, как известно, польской аристократкой и первой коронованной московской царицей (под именем Марии Юрьевны), женой последовательно Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Она сыграла достаточно заметную,

© А. В. ЮДИН

хотя и не решающую роль во внутриполитических событиях в Московском государстве начиная с 1606 г. (год ее приезда в Москву, коронации и почти немедленного свержения с престола) и по 1612 г. Ее малолетний сын (подлинный или подставной) от Лжедмитрия II, известного также как Тушинский вор, поддерживался некоторыми силами в качестве наследника престола. Однако ополчение Минина и Пожарского выступило против поддерживавших Марину казаков, а сам Пожарский призвал не признавать ее сына наследником. После ряда военных столкновений Марина вместе со своим покровителем казацким атаманом Заруцким бежала в Астрахань, затем на Урал. В 1614 г. они были схвачены. Сын Марины был повешен в Москве, а сама она вскоре умерла в заточении. Такова общая канва событий[1].

Материалом для статьи послужили сочинения В. Н. Татищева, М. М. Щербатова, Н. М. Карамзина, Д. П. Бутурлина, С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, Д. И. Иловайского, В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова. Разумеется, этот список не является исчерпывающим. В качестве предмета исследования были избраны либо классические общие труды по российской истории, оказавшие большое влияние на современную им и на позднейшую историографию, либо специальные монографии, посвященные Смутному времени. Также было важно привлечь к рассмотрению труды авторов, представляющих достаточно длительный промежуток времени, который позволил бы выявить присутствующие в их сочинениях мировоззренческие и методологические следы господствовавших в разное время идеологических и эстетических систем. При таком подходе интересным может быть и обращение к авторам менее значительным, но занимавшим более радикальную позицию (ультраконсервативную или ультрапрогрессивную). В нашем случае это объясняет привлечение к рассмотрению труда Иловайского (который, впрочем, мало интересовался нашей героиней).

Нас интересует, как образ Марины Мнишек был (и был ли вообще) представлен в важнейших трудах названных авторов, как они нарративизировали ее историю и как оценивали историческую роль этой царицы-неудачницы. Разумеется, они черпали информацию, свидетельства и оценки из русских и иностранных источников, которых (включая свидетельства современников) о Марине Мнишек существует немало. Существенная часть свидетельств иностранцев была издана в русском переводе уже в конце первой трети XIX в. Н. Г. Устряловым [Устрялов 1831–1834] (мы цитируем далее третье, исправленное издание [Он же 1859]), но и до этого они были известны русским историкам в оригинале. Потому во многом рассказы историков совпадают, во всяком случае в том, что касается фактографии. Нас в их текстах, однако, интересует прежде всего феномен, который мы называем профилированием (построением дискурсивных версий) образов исторических лиц и событий, а также причин и мотиваций последних.

[1] Подробнее о современном состоянии исторического знания о Марине Мнишек и Смутном времени вообще см., например: [Dunning 2001].

Описывающий исторические события текст мы рассматриваем как тип дискурса и как своего рода литературный жанр[2]. Автор статьи не занимается, таким образом, (ре)конструктивистским[3] исследованием истории. Более того, хотя в качестве методологической базы мы используем среди прочего идеи деконструктивистской историографии, наш подход лежит скорее в рамках дискурсивного анализа. Мы не стремимся выяснить ничего нового о Марине Мнишек и ее судьбе и не задаемся вопросом о способах познания исторической реальности у рассматриваемых нами авторов. Как писал Н. Е. Копосов, «вместо того, чтобы пытаться понять, как возможно объективное познание прошлого, как историки *познают*[4], можно спросить себя, как они *думают*, безотносительно к тому, насколько ценны плоды их размышлений» [Копосов 2001: 23]. Не относится наша работа и к категории гендерных исследований[5], хотя, конечно, то, что речь шла о женщине, сыграло важнейшую роль в том, как описывали историки образ интересующего нас лица.

Мы исходим из свойственного историографической эпистемологии представления, что историк, и уж наверняка автор XVIII–XIX вв., пишет свой «рассказ», базируясь на личной интерпретации исторических событий, выделяя в соответствии с этой интерпретацией одни из них и затуше-

[2] Как писал Алан Манслоу, «the deconstructive historical consciousness suggests that history written by working historians should explicitly acknowledge and, when appropriate, explore its emplotted or prefigured form. What is argued for is that the analysis of style, genre and narrative structure, more usually associated with fictional literature, be applied to the understanding of the historian's sources and written interpretations» [Munslow 2006: 62]. Ср. аналогичную позицию в докторской диссертации Мишеля Де Доббелеера [De Dobbeleer 2011: 99]. Мы, впрочем, не забываем и предупреждения Франка Анкерсмита, сделанного еще в начале 1990-х годов: «Двадцать лет назад философия истории была сциентистской; теперь следует избегать другой крайности — понимания историографии как формы литературы» [Анкерсмит 2003: 118].

[3] О трех больших направлениях, выделяемых в историографии, — реконструктивизме, конструктивизме и деконструктивизме — см.: [Munslow 2006] и другие работы этого автора, хрестоматию [Jenkins, Munslow 2004]; на русском языке — [Потапова 2015: 18].

[4] Здесь и далее в цитате курсив Н. Е. Копосова.

[5] Существует целый ряд работ, посвященных положению женщины в допетровской Руси и ее роли в повседневной жизни, — от сочинений В. Я. Шульгина [Шульгин 1850], А. В. Добрякова [Добряков 1864] и С. С. Шашкова [Шашков 1879] — и до работ Н. Л. Пушкаревой и Ив Левин ([Пушкарева 1989; Pushkareva, Levin 1997] и др.). Наша цель, однако, иная: нас интересует не гендерная ситуация допетровской эпохи, а интерпретация различными историками образа одной женщины-иностранки, интересного своей экзотичностью и нестандартностью для русской культуры. Кстати, Марине Мнишек, очевидно из-за ее польского происхождения, не нашлось места в названном выше ряде работ. «Галерея знаменитых россиянок» в книге [Пушкарева 1989: 11–69] доведена в соответствии с хронологическими рамками книги только до XV в., да и в любом случае автора интересовали скорее русские княжны, выданные замуж за рубеж, чем иностранные принцессы в Москве. Из больших «тематических» сочинений о женщинах в русской истории только в старом популярном цикле Д. Л. Мордовцева «Русские исторические женщины», составленном на базе работ русских историков, Марине Мнишек, по примеру сочинения Костомарова, посвящена отдельная глава (см.: [Мордовцев 1902: 141–156]). Существует также даже для своего времени скорее популярный, чем научный, исторический очерк о ней [Хмыров 1862].

вывая, помещая в тень или вовсе не упоминая другие, а главное — находя и выстраивая некий «сюжет», объединяющий выделенные и признанные важными события в одну линию, единый нарратив с началом и концом (см.: [Munslow 2006: 71–80]). Последнее явление Хейден Уайт называл «осюжечиванием (emplotment) фактов», другой возможный перевод данного термина — «построение сюжета» [Уайт 2002: 18]. Как писал Уайт в предисловии к русскому изданию своей «Метаистории», «поскольку язык предлагает множество путей конструирования объекта и закрепления его в образе и понятии, историки располагают выбором модальностей преображения [figuration], которые они могут использовать, чтобы строить сюжеты серий событий как выявляющие те или иные смыслы» [Уайт 2002: 10].

Однако, как справедливо заметил Н. Е. Копосов, «история является далеко не только повествованием, так что нарративные механизмы отнюдь не исчерпывают всей совокупности механизмов сознания, оказывающих влияние на конструирование истории» [Копосов 2001: 12]. Для нас здесь важно прежде всего то, что мировоззрение историка обычно находится под влиянием той или иной современной ему большой мировоззренческой (и одновременно нередко эстетической) парадигмы (эпистемологической модели интерпретации мира), такой как патриархальный консерватизм, рационализм/классицизм, мистицизм/барокко, сентиментализм, романтизм, либерализм/позитивизм и т. п., или их комбинации. Принятая историком и просто доминирующая в его время в обществе мировоззренческая система влияет, среди прочих факторов, на выбор интерпретативных стратегий автора.

Версии образа Марины Мнишек и рассказа о ней, представленные в произведениях историков, мы называем п р о ф и л я м и ее образа, а сам процесс их создания — п р о ф и л и р о в а н и е м. Этот термин, восходящий к когнитивной грамматике Рональда Лангакера (см.: [Langacker 1987–1991]), мы используем в смысле, близком концепции профилирования понятий Ежи Бартминьского. Польский этнолингвист применил этот термин для анализа аксиологически нагруженных понятий и языково-культурных стереотипов[6]. Под профилированием Е. Бартминьский понимает формирование понятий, представление их в определенной перспективе, т. е. в таком, а не в другом сочетании принятых во внимание аспектов в соответствии с определенными коммуникативными интенциями, принятой иерархией ценностей, точкой зрения ([Bartminski 1993b: 152]; более подробное объяснение см. в специальной работе [Idem 1993a: 15]).

Под точкой зрения в этнолингвистике понимают субъектно-культурный фактор, определяющий способ говорения о предмете. Точка зрения доступна нам в виде ее дискурсивных проекций, т. е. выражений в речевой деятельности субъекта, определенных опытом познания им мира, языком,

[6] Подробнее о содержании и использовании термина «профилирование» в когнитивной этнолингвистике см.: [Bartmiński 1993a; 2012; Bartmiński, Mazurkiewicz-Brzozowska 1993; Bartmiński, Tokarski 1998; Bartmiński, Żuk 2007].

культурой, ценностями и убеждениями субъекта. Совокупность таких проекций и составляет п р о ф и л ь определяемого понятия. Профиль здесь — восприятие предмета определенным конкретным образом, структура которого определена рядом культурных факторов, в частности — знанием о мире, типом рациональности, системой ценностей.

Интерпретируя конкретные исторические события либо рисуя портреты исторических лиц, историки применяют избирательный подход: основываясь на своей идеологической и аксиологической базе, они акцентируют одни детали, признаки, черты и скрывают другие, менее, с их точки зрения, важные или не вписывающиеся в общую концепцию. Этот процесс и есть п р о ф и л и р о в а н и е, а его результаты являются дискурсивными п р о ф и л я м и исторических лиц и событий. Они становятся элементами авторской версии (дискурсивного образа, в конечном счете мифа) действительности, на основе которой порождаются описывающие мир нарративы. Таким образом, профилирование есть механизм идеологизированной (пере)интерпретации реальности на микроуровне элементов текста (персонажей) и «сюжетов», в данном случае исторических, но созданных в рамках тех или иных идеологических дискурсов под влиянием порожденных последними «дискурсивных машин» (термин И. Сандомирской, см.: [Сандомирская 2001]).

Важным механизмом профилирования событий и образов, как и построения целых нарративов («осюжечивания» событий) на уровне анализа не больших систем, а отдельных текстов и представленных в них образов, является их соотнесение и отождествление с культурно образцовыми, прототипическими[7] и/или стереотипными устойчивыми моделями интерпретации стандартных ситуаций, человеческого поведения, характеров и т. п. В данной работе у нас нет возможности подробно разработать их типологию. Примерами могут служить модель (и стандартный нарратив) любви к родине и труда на ее благо, модель защиты родины и героической гибели за нее[8], модель отречения, предательства и позднейшего раскаяния (или полного падения) — в «государственной» сфере или в частной жизни. Примерами другого рода являются стереотипные представления об элементах окружающей человека повседневной действительности, например такие, как полуфольклорные культурные стереотипы заботливой и ласковой *матери*, строгого и справедливого *отца*, скромной и нежной *девушки*, честного и храброго *юноши*, привычного и уютного *родительского дома*, *коровы*, дающей молоко, *кота*, который ловит мышей и ворует молоко, *пса*, грызущего кости и охраняющего дом от воров, крадущегося в ночи *вора* и т. п. Здесь же стереотипы устойчивых типичных социальных ролей-образов: *царь*, *воин*, *священник*, *мудрый сановник*, *лукавый царедворец*,

[7] Прототипическое мы понимаем в духе когнитивизма как центральное, ядерное, образцовое в естественных категориях человеческого познания.

[8] Патриотические дискурсивные нарративы рассмотрены в названной выше книге [Сандомирская 2001].

начальник, *судья*, *доносчик*, *монах*, *торговец*, *преступник*, *простолюдин* (*крестьянин*), *парень*, *девица на выданье*, *муж*, *жена*, *старик*, *старуха* и т. д., а также профессиональные стереотипы или модели, отсылающие к классификации людей по принципам их отношения к труду, общественному поведению, по их интеллектуальным и физическим способностям и т. п. (*умный*, *дурак*, *силач*, *слабак*, *герой*, *трус*, *гордец*, *карьерист*, *честолюбец*, *трудолюбивый*, *лентяй*, *честный*, *мерзавец*...). За каждым из этих понятий стоят стереотипные образы, воспринимаемые людьми уже в раннем детстве и поддающиеся экспликации, анализу и реконструкции. Понимание новых ситуаций, событий, людей производится человеком через их сверку и отождествление с этими и подобными им стандартными образами. Таким был и механизм мышления историков, описывавших исторических лиц и составлявших связанные с ними факты в повествования о них.

Татищев

Начнем с В. Н. Татищева (60–80-е годы XVIII в.) [Татищев 1966][9]. «Отец русской историографии» во многом еще более напоминает летописца, чем историка. Собственно, как известно, в основу изложения исторических событий XVI века в его сочинении и был положен текст Академического XV списка Никоновской летописи [Валк 1966: 7]. Но летопись обрывается на 1558 г., и потому для дальнейшего описания историку приходилось пользоваться разрозненными источниками. Стиль мышления Татищева, как и манера изложения свойственны скорее хронисту. Однако рационализм и классицизм XVIII столетия также наложили на него свой отпечаток.

О Марине Татищев пишет весьма скупо, и общее его отношение к ней явно негативное. Заметно, что она не принадлежала для него к числу важных фигур в русской истории. Ее историю он излагает с позиций патриархального мировоззрения. В его рассказе Марина предстает преимущественно как пассивное орудие честолюбивых планов своего отца. У Татищева не сама Марина, будущая царица, едет в Москву — едет ее отец с дочерью, и не ее встречают с почестями москвичи, а отца (он действительно приехал в Москву раньше, чтобы приготовить приезд дочери, но здесь речь идет о их совместном торжественном въезде):

> Как Мнишек с дочерью ехал к Москве, то были ему от знатных людей три встречи, а под Москвою встречали за городом боляре с войски в великом убранстве и с честию, надлежащею царской невесте. В Москве же поставили Мнишка в Кремле на двор царя Бориса, а дочь его в Вознесенской монастырь блис царицы в особно построенных покоях, протчих же поляков по всем дворем знатных людей [Татищев 1966: 295][10].

[9] М. В. Ломоносов в своем конспективном «Кратком Российском летописце» (1760) излагает историю Лжедмитрия, но Марину Мнишек не упоминает. Таким образом, Татищев — первый русский историк, обратившийся к ее образу.

[10] В текстах Татищева сохранены орфография и пунктуация издания 1966 года.

Как мы видим, в этом пассаже Марина даже не названа по имени. Она не распоряжается своей судьбой. Позднее именно отец решает, признавать ли ей мужем Лжедмитрия II:

> Сей Мнишек, приехав в Тушино, узнал, что не зять его, не хотел дочери своей ему отдать. Однако ж для удержания войск согласились, что ему и дочере его признать его за истиннаго. И сначала положено было, что оному вору ея не касаться и почитать, токмо по некотором времяни тайно их венчали [Там же: 305].

Та же история другими словами повторена Татищевым ниже [Там же: 322–323]. Всюду воссоединение Марины с «вором» Татищев изображает как инициативу и решение ее отца в целях осуществления его желания мести боярам и возвращения с честью в Польшу:

> И в той надежде сие притворство учинил, что с великою честью онаго вора с пролитием слез и целованием перед всеми людьми принял и дочь свою к нему в хоромы перевез [Там же: 323].

В своей воле Марине историком тут отказано. Если же она поневоле начинает действовать активно, как самостоятельная личность (это происходит, когда она в силу обстоятельств лишается покровительства отца и мужа, остается одна), это вызывает явное неодобрение историка. Например, описав бегство «вора» в Калугу и смуту в лагере после этого, он говорит, что письма «вора», приглашающие казаков и стрельцов перейти к нему, на них не действовали.

> И колико сие действительно ни было, но паче Марина, жена его, забыв пристойность и стыд, сама по обозу ходя, уговаривала. Таковым образом возмутила она донских казаков, [и они ушли к Лжедмитрию, но их порубили поляки] ‹…›. Марина, видя, что ей не весьма уже надежда на поляков быть могла, и паче опасаясь тяжкаго от них с нею поступка, одевся в мужеское платье, согласясь с Глазуном Плещеевым, ночью верхом с ним уехала в Колугу [sic!], оставя после себя письмо, в котором причины ухода ея объявила [Там же: 333].

Ключевая фраза здесь: «забыв пристойность и стыд»: Марина забывает здесь два главных, с точки зрения патриархального моралиста, атрибута порядочной женщины.

Татищев настойчиво подчеркивает моменты переодевания Марины в мужское платье и использование ею мужских атрибутов. По дороге в Калугу Марина приехала к гетману Сапеге, который осаждал монастырь. Услышав, что на него идет воевода князь Скопин-Шуйский, Сапега отступил; «Марина же, одевшись в польской красной бархатной кавтан, привезав муское оружие и взяв с собою 50 казаков, уехала ‹…› в Калугу, опасаясь при оном войске большаго нещастия» [Там же: 333]. Любопытно сравнить

этот текст с его источниками[11] — «Летописью Московской» немца Мартина Бера (Martinus Bäer) и «Историей» шведа Петрея (Petrus Petrejus De Erlesunda), которыми пользовались позднее и другие рассматриваемые нами историки[12]:

> Она решилась ехать в Калугу; велела сшить для себя мужской польский кафтан из красного бархату, купила сапоги со шпорами, вооружилась пистолетами, саблею и, сев на коня, отправилась в путь. Сапега дал ей в провожатые 50 казаков и всех немцев, бывших в Дмитровске… [Бер 1859: 112].

> Она велела сделать себе польское мужское платье из красного бархата, купила сапоги и шпоры, саблю, пистолеты, села на коня и, точно вооруженный кавалерист, ехала до Калуги 48 миль с 50-ю казаками [Петрей 1867: 281].

Как видим, из текста Татищева исчезло свидетельство, что сопровождение Марине дал Сапега. Для мировоззрения Татищева Марина, прямо уговаривавшая казаков действовать и командовавшая ими, скакавшая на коне в мужском костюме во главе более чем 50 мужчин (вместе с немцами), делает вещи, не подобающие женщине и достойные осуждения. Ее инициативность и решительность явно не нравятся автору, вероятно, как качества, не подобающие женщине. Можно предположить, что упоминание о Сапеге было снято, поскольку Татищев хотел избежать даже намека на «мужскую санкцию» этих Марининых действий.

Действительно, в патриархальном мировоззрении Московского государства начала XVII в. основные социальные роли женщины на всех социальных уровнях были зависимы от отца или мужа[13]. Число относительно

[11] В этом месте текста Татищев ссылается на польские и западные источники: Станислава Кобежицкого (St. Kobierzycki, «Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis … usque ad excessum», Dantisci, 1655), Павла Пясецкого ([Pauli] Piasecii, «Chronica gestorum in Europa singularium accurate ac fideliter conscripta ad annum Christi 1553», Cracoviae, 1645), Петра Петрея (см.: [Петрей 1867]). Ими же пользовались и позднейшие историки, описывавшие историю Смутного времени. В этой работе мы не можем провести специальный текстологический анализ, сравнивая детально тексты источников и передачу их сведений в исторических сочинениях: этого не позволяет объем статьи. Эта чрезвычайно интересная задача должна стать следующим этапом анализа рассматриваемого материала, здесь же такие сравнения придется оставить спорадическими.

[12] Здесь и далее при цитировании источников, опубликованных в старой орфографии, мы модернизируем орфографию (исключая особенности написания имен собственных) и пунктуацию источника (сохраняя индивидуальные авторские особенности пунктуации, такие как использование точки с запятой и т. п.).

[13] История вопроса о социальном положении женщин в древнерусском обществе описана в отдельной главе работы [Пушкарева 1989: 177–209]. Конечно, бессловесными и смиренно покорными мужчинам древнерусские женщины были только в идеале: как показала Н. Л. Пушкарева, социально активные женщины вовсе не были редкостью в древнерусском обществе, хотя и осуждались церковной моралью как «злые жены» [Там же: 101–102]. Но и она признает, что в допетровскую эпоху «большая, если не основная часть жизни жен-

самостоятельных ролей для женщины было ограниченно и всегда связывалось с общественно санкционированным («нормальным») отсутствием мужа: вдова, монахиня, женщина легкого поведения. Несколько бóльшую свободу давал пожилой возраст, открывавший для простой женщины (крестьянки или посадской) возможности быть повитухой, знахаркой, ведьмой (последнее, впрочем, было небезопасно). Эти «самостоятельные» роли часто были связаны с вдовством. Роли царицы в нашем списке нет: в Московском государстве царские жены не имели официальной политической роли и в случае развода их отправляли в монастырь. Вспомним судьбу первой жены Василия III Соломонии Сабуровой или жен его сына Ивана Грозного, который семь раз вступал в брак и хлопотал о восьмом.

Впрочем, можно вспомнить и Елену Глинскую[14], которая, став женой того же Василия III, сумела выхлопотать свободу и возвращение высокого положения для находившегося много лет в заточении своего знаменитого дяди Михаила Глинского, что означало определенное политическое влияние. Она же, кстати, уже после смерти мужа вновь отправила Глинского в заточение, поскольку тот, назначенный умирающим Василием в декабре 1433 г. одним из опекунов ее и детей[15], стоял на ее пути к власти. Однако не забудем, что Елена не была коренной жительницей Великого княжества Московского. Ее отец происходил из Великого княжества Литовского, а мать из Сербии. Елена была православной и русскоязычной, но воспитанной в немосковской культурной и бытовой традиции. Потому, вероятно, и вела она себя иначе. Она является наиболее сопоставимой с Мариной Мнишек фигурой в истории Московского государства. Не согласившись с вдовьим положением под началом опекунов, она, поддержанная своим фаворитом Иваном Федоровичем Овчиной Телепневым-Оболенским, к осени 1534 г., т. е. менее чем через год после смерти мужа, стала соправительницей страны вместе с малолетним сыном. Боярыни ее двора также приобрели после этого «реальный вес в придворной среде» [Кром 2010: 148]. Ее правление продолжалось до 1538 г., когда она была, вероятно, отравлена[16].

Марина Мнишек, однако, была не просто «супругой царя». Над ней впервые в русской истории был проведен обряд коронации, т. е. венчания на царство. До этого царские жены в Москве не короновались. Потому она

щин была жизнью семейной» [Пушкарева 1997: 11]. Нас здесь, однако, в первую очередь интересует идеализированная картина, поскольку именно она была представлена в стереотипных представлениях и лежала в основе формирования историками суждений о нашем персонаже.

[14] См. о Елене Глинской и политической борьбе в 1530-е годы в исследовании [Кром 2010: 99–136]. О политической ситуации в 1534 г., включая список важнейшей литературы вопроса, см. также: [Шапошник 2014: 27–37].

[15] Новейшее исследование говорит об устно назначенном Василием III триумвирате опекунов, а не о семи боярах или более, как предполагалось раньше. См.: [Кром 2010: 77–79].

[16] О результатах патологоанатомической экспертизы ее останков, подтвердивших отравление, см.: [Пежемский, Панова 2004]; о скептической реакции многих историков на эти результаты: [Кром 2010: 229–230].

считала себя законной московской царицей, носительницей самостоятельного сакрализованного начала власти. Этим, очевидно, была обусловлена ее активная политическая деятельность, невиданная ранее для женщины в восточнославянских землях со времен княгини Ольги.

Татищев также описывает, как в 1612 г. после взятия Китай-города вожди ополчения стали советоваться о выборе государя. Возникла опасность раскола, так как казаки поддержали бы Марину с сыном, другие же захотели бы кого-то из бояр. Историк приводит слова одного из лидеров ополчения, Трубецкого, который говорил, что Маринина сына, годовалого младенца, выбирать нельзя — многие знают, что он сын ненастоящего Димитрия, и в любом случае он мал и Марина не годится на роль регентши, поскольку

> …такое великое государство управить и людей, к смятениям уже обыкших, ни ему, ни матере его, яко женщине, управить невозможно. К тому ж известно всем, что она, от многих знатных фамилей оскорблена, будет им мстить и поляков, яко своих свойственников и родственников, ей при себе держать возбранить невозможно. А ис того всего паки тяжчайшия несогласия произойдут [Татищев 1966: 352].

Трубецкой считал, таким образом, что женщина неспособна управлять большим государством с привыкшим к смутам населением. Этот аргумент не мог, впрочем, звучать очень сильно в Московском государстве, которое уже знало период фактического правления Глинской, не говоря уже об общеизвестном сакральном прецеденте правления киевской княгини Ольги, тоже вдовы, унаследовавшей власть от мужа. Интересно, что этот пассаж был написан Татищевым во времена императрицы Екатерины II, успешно справлявшейся с управлением великой державой. Видимо, с действующей монархиней эта цитата (будучи словами не автора, а исторического лица) современниками не соотносилась.

Сама Смута в целом, согласно Татищеву, была не более чем польско-католической интригой против православия и Московского государства. Вообще историю он видит преимущественно как совокупность деяний сильных мира сего и/или последствий всевозможных заговоров, как результат борьбы активных людей, имеющих власть или могущих влиять на нее, способных вести за собой массы или плетущих интриги. Если женщине изначально отказывается в праве на активность, большой роли в такой истории она получить не может. В профиле Марины подчеркиваются, таким образом, пассивные черты, а если она становится активной, это осуждается.

Щербатов

«История российская от древнейших времен» князя М. М. Щербатова, писавшаяся всего несколькими десятилетиями позже (издана в 1790 г.) [Щербатов 1904], дает совершенно иной образ нашей героини. Щербатов — не мень-

ший морализатор, чем Татищев, но он человек совсем другого образования и культуры. Он был европейски образованным человеком эпохи Просвещения, знал западные языки и никак не может быть назван антизападником, хотя он и был российским патриотом и государственником. Марину в своей «Истории» он описывает отрицательно, но иначе, чем Татищев, считая ее сознательной честолюбивой интриганкой, которая воспользовалась чувством Лжедмитрия I, чтобы стать царицей. Таким образом, роль Марины здесь уже достаточно активна.

Щербатов дает первый психологический портрет нашей героини:

> ...Сендомирский имел у себя дочь от второго брака, именем Марину, деву гордую, хитрую, дерзновенную и готовую себя пожертвовать ради удовольствия своего честолюбия [Там же 1904 (I): 266].

Перед нами уже не простое орудие в руках отца, а самостоятельная действующая личность. Однако нужно признать, что черты характера Марины, названные историком, скорее напоминают экспликацию расхожего русского стереотипа гордого («гонористого»), честолюбивого поляка, стереотипа, сформировавшегося как раз в значительной степени под влиянием событий Смутного времени[17]. Марина у Щербатова сознательно принимает ухаживания влюбленного Лжедмитрия, но отказывает ему в браке, пока он не станет царем:

> В сию влюбился Расстрига, а и она, мня видеть в нем наследника Российского престола, не отвергла его исканий [Там же].

Роль отца в этой версии сохраняется, но сводится к честолюбивым мечтам и благословению:

> Отец ее, также жегомый честолюбием, и мня через сие учинить дочь свою царицею Российскою, на обоюдное желание их согласился… [Там же].

В России, согласно Щербатову, торжественно встречали уже Марину, а не ее отца [Щербатов 1904 (II): 81]. Рассказ о первых днях отца и дочери в Москве также фокусируется на Марине: при ее въезде в Москву поднялась буря, как и при въезде Лжедмитрия [Там же: 82]; Марина до свадьбы жила в монастыре у царской матери, Лжедмитрий посещал ее там с музыкантами, в монастыре устраивались танцы и пелись светские песни, что оскорбляло русских [Там же: 83].

В целом у Щербатова мы видим образ уже вполне активной, самостоятельной личности: влекомой собственными желаниями и страстями, хитрой и честолюбивой гордячки. Этот образ еще достаточно стереоти-

[17] О русском стереотипе поляка и польском стереотипе русского см. [Хорев 2000].

пен, хотя и опирается на исторические свидетельства. Историк осуждает Марину с позиций христианских, патриархальных и патриотических, но в его изложении она предстает уже по крайней мере как субъект воли и истории, в достаточной степени отдельный от отца и вообще от мужской воли. Марина Мнишек в версии Щербатова использует мужчин, манипулирует ими, добиваясь собственных целей. Одно то, что подобный профиль женского персонажа стал возможен в историческом описании, показывает, как быстро изменялось во второй половине XVIII в. мировоззрение образованного российского общества, как в него вместе с изучением европейских языков, прежде всего французского, и с усвоением западноевропейской литературы и культуры входили новые идеологические и культурные парадигмы и дискурсы.

Карамзин

Пройдет еще немногим более десятилетия, и с выходом сочинений Н. М. Карамзина образ мира (и женщины в истории и литературе) в русской историографии изменится еще раз, причем радикальным образом. Перевернув российскую словесность своей «Бедной Лизой»[18], Карамзин перешел к истории. «Историю государства Российского» [Карамзин 1989 (IX–XII)] он писал в качестве официального историографа на государственном жалованье с 1803 г. (первые шесть томов были опубликованы в 1818 г.) и до своей смерти в 1826 г. Она написана в духе консервативно-монархических православных убеждений, которые Карамзин, особенно к концу жизни, искренне разделял.

Карамзин в своей «Истории» — не меньший, чем его предшественники, христианский морализатор, обличитель человеческих пороков и разврата, наказанием за которые была для него Смута[19]. Однако в его весьма консервативном сочинении тем не менее хорошо ощутим новый дух литературного сентиментализма, прежде всего в портретах исторических лиц. Карамзинским описаниям присущи эмоциональный стиль, внимание к внутреннему миру человека, его психологии (хотя это внимание еще трудно назвать настоящим психологизмом). В его тексте много эпитетов, оценочных слов, восклицательных знаков. Рядом с разумом он легко дает волю чувству. Поражает почти фольклорная клишированность стиля «Истории». Например, когда Карамзин положительно высказывается о женщине или мужчине-семьянине, он обычно называет их *нежными* — *нежная сестра*, *нежная жена*, *нежная Марина*, *нежный отец семейства*.

[18] Карамзин был, конечно, не единственным русским автором, находившимся под влиянием сочинений Руссо и Стерна, но несомненно самым значительным, которому удалось сделать сентиментализм фактом большой русской литературы.

[19] Идея о том, что Смута была наказанием за грехи русских людей перед Господом (начиная с убийства царевича Димитрия), восходит еще к «Сказанию» современника событий Авраамия Палицына [Авраамий 1987].

Персонажи авантюрного склада, наподобие Лжедмитрия, последовательно именуются *ветреными*, и т. п. Важные моменты в судьбах героев непременно знаменуются тем, что они заливаются слезами. Разумеется, плач, или хотя бы имитация его, в определенных жизненных ситуациях в средневековой культуре был обязателен[20]. Люди публично плакали от радости, горя, умиления, действительных или мнимых, и Карамзин тут верно следует своим источникам[21], но количество проливаемых слез у него все же, думается, даже для его времени преувеличено.

У Карамзина мы впервые встречаемся с описанием внутреннего психологического развития нашей героини. В ходе изложения она эволюционирует от невинной, но честолюбивой и ветреной юной девы через высокомерную и твердую обманщицу к «срамной вдове двух обманщиков». Эта схема, однако, вполне соответствует православному представлению о том, как искушение входит в душу человека, постепенно овладевая ею и преобразуя ее на дьявольский лад. Сперва историк почти благоволит Марине и изображает ее, как и Татищев, простым орудием в руках двух честолюбцев, Лжедмитрия I и отца. Но эта ее пассивная роль мотивируется совсем не так, как у Татищева, в мировоззрении которого женщина вообще ничего не может (или по крайней мере не должна) решать. Для сентименталиста непредставимо другое: разве может юная, невинная и прекрасная дева быть злодейкой? Потому ей приписываются лишь легкомыслие и честолюбие — черты простительные, но опасные, ибо через них человеком овладевает соблазн.

Влияние отца на Марину для Карамзина, видимо, состояло прежде всего в воспитании: дочь у него имеет отцовский характер. Сандомирского воеводу историк описывает следующим образом:

> ...Старец Мнишек, коему старость не мешала быть ни честолюбивым, ни легкомысленным до безрассудности. Он имел юную дочь прелестницу, Марину, подобно ему честолюбивую и ветреную: Лжедимитрий, гостя у него в Самборе, объявил себя, искренне или притворно, страстным ее любовником, и вскружил ей голову именем царевича; а гордый воевода с радостию благословил сию взаимную склонность, в надежде видеть Россию у ног своей дочери… [Карамзин 1989 (XI): стлб. 80].

Итак, если у Щербатова Марина использовала Лжедмитрия для достижения своих целей, то у Карамзина манипулятором представлен сам Лжед-

[20] И не только в средневековой: ср., например, обязательность всенародного плача после кончины Сталина или северокорейских вождей.

[21] Татищев также, вслед за источниками, упоминает плач Мнишека при лживом признании Мариной Лжедмитрия II своим мужем: Мнишек надеялся отомстить московским боярам и с честью возвратиться в Польшу, «и в той надежде сие притворство учинил, что с великою честью онаго вора с пролитием слез и целованием перед всеми людьми принял и дочь свою к нему в хоромы перевез» [Татищев 1966: 323].

митрий, тоже, кстати, названный ветреным и безрассудным. Сохраняя в описании известные из свидетельства современника детали, Карамзин литературно и почти любуясь описывает внешность юной героини во время и после обручения:

> Марина, с короною на голове, в белой одежде, унизанной каменьями драгоценными, блистала равно и красотою и пышностию [Там же: стлб. 139].

Характерно и описание встречи Марины в Москве, где не обошлось без описания эмоционального состояния встречающих:

> Звонили в колокола, стреляли из пушек, били в барабаны, играли на трубах — а народ безмолвствовал; смотрел с любопытством, но изъявлял более печали, нежели радости, и заметил вторично бедственное предзнаменование: уверяют, что в сей день свирепствовала буря, так же, как и во время Расстригина вступления в Москву [Там же: стлб. 153].

Далее в рассказе Карамзина о пребывании Марины в Москве появляется довольно едкая ирония. Марину поместили на проживание в монастырь, где пребывала царская мать.

> …В первый день она (Марина. — *А. Ю.*) действительно казалась постницею, ибо ничего не ела, гнушаясь русскими яствами: но жених, узнав о том, прислал к ней в монастырь поваров отца ея, коим отдали ключи от Царских запасов, и которые начали готовить там обеды, ужины, совсем не монастырские [Там же: стлб. 154].

Дальнейшее поведение Марины и Лжедмитрия Карамзин, как и москвичи начала XVII в., считает возмутительным. Царь (ее будущий супруг) ходил к ней в монастырь ежедневно, они уединялись, она устраивала музыку, песни и пляски, Лжедмитрий водил к ней скоморохов. Все это никак не соответствовало монастырским и вообще русским правилам. Карамзин охотно повторяет в своем труде упреки современников к Самозванцу в пренебрежении русскими правилами:

> …Страстный к обычаям иноземным, ветреный Лжедимитрий не думал следовать русским: желал во всем уподобляться ляху, в одежде и в прическе, в походке и в телодвижениях [Там же: стлб. 129].

Это не было комплиментом: поляков Карамзин описывает как людей беспечных, корыстолюбивых и ведущих разгульную жизнь.

По мере изложения дальнейших событий честолюбие героини упоминается снова и снова. Но историк все же находит возможность известного сочувствия ей. При встрече с Лжедмитрием II Марина у Карамзина сперва ужасается.

> …С печалью однако ж увидела сего второго Самозванца, гадкого наружностию, грубого, низкого душою — и еще не мертвая для чувств женского сердца, содрогнулась от мысли разделять ложе с таким человеком. ‹…› Но поздно! Мнишек и честолюбие убедили Марину преодолеть слабость [Карамзин 1989 (XII): стлб. 54–55].

Как видим, в версии Карамзина окончательный выбор своей судьбы принадлежит самой Марине — отец же только уговаривает ее. Это резко отличается от интерпретации других историков, подчеркивающих, что Мнишек фактически продал свою дочь Лжедмитрию II (ср. ниже интерпретацию Костомарова).

В дальнейшем рассказе появляется мотив лицедейства, обмана Марины. Ср., например, описание встречи с Лжедмитрием II. Карамзин меняет тон при описании Марины — героиня «испортилась»:

> 1 сентября Марина торжественно въехала в Тушинский стан и лицедействовала столь искусно, что зрители умилялись ее нежностию к супругу: радостные слезы, объятия, слова внушенные, казалось, истинным чувством — все было употреблено для обмана, и небесполезно… [Там же: стлб. 55].

Итак, Марина становится лгуньей, причем не только в словах, но и в демонстрации своих чувств, и это — начало ее морального падения. Продолжая рассказ о злоключениях Марины, историк говорит уже о ее высокомерии и твердости. Последнее в контексте его рассказа отрицательно: героиня закоренела, «затвердела» в грехе гордыни. После отъезда Лжедмитрия II в Калугу «Марина, оставленная мужем и двором, не изменяла высокомерию и твердости в злосчастии…» [Там же: стлб. 112]. На совет Сапеги удалиться в Польшу к отцу она гордо отвечает: «Царица Московская не будет жалкою изгнанницею в доме родительском» [Там же: стлб. 119]. Местами в повествовании Карамзина еще сохраняются нотки сочувствия, но в описании героини на первый план выходят ее гордость и властолюбие, иногда отчаяние и ярость. Описывая события после убийства второго Самозванца, Карамзин рисует зрелищную драматическую сцену, достойную будущего исторического кинематографа: «Марина, отчаянная, полунагая, ночью с зажженным факелом бегала из улицы в улицу, требуя мести…» [Там же: стлб. 161]. Он описывает Марину как активное действующее лицо событий, причем не осуждает ее активности как таковой, как и ничего не говорит о приличиях и женском стыде. Аморальные мотивы и страсти, движущие Мариной, — вот что достойно осуждения в глазах Карамзина.

Показателен сарказм историка относительно рождения Мариниого сына: после похорон Лжедмитрия II «Марина, в отчаянии не теряя ни ума, ни властолюбия, немедленно объявила себя беременною; немедленно и родила… сына, торжественно крещенного и названного Царевичем Иоанном…» [Там же: стлб. 161]. Карамзин, не веря в совпадения, явно считает

заслуживающими доверия слухи о том, что роды были фиктивными. Здесь героиня окончательно утрачивает всякое сочувствие автора. Дальнейшая ее судьба изложена сухо и презрительно: после родов последние знатные русские, еще бывшие при Марине, «уже не захотели служить ни срамной вдове двух обманщиков, ни ее сыну, действительному или мнимому ‹…›, овладели Калугою и взяли Марину под стражу» [Там же: стлб. 162].

Разумеется, высокомерие и властолюбие Марины не были придуманы Карамзиным. Они хорошо известны из исторических свидетельств, в частности из ее дневника (написанного, как считают историки, не ею самой, а членом ее свиты польским аристократом Авраамом Рожнятовским; см.: [Дневник 1995]). Однако красочные описания эмоций, чувств, переживаний, черт характера исторических лиц, скорее подобающие историческому роману, чем собственно историческому сочинению, — характерный элемент карамзинского стиля.

Итак, в «Истории» Карамзина мы видим православно-монархическую, консервативную, но в то же время вовсе не патриархальную, а сентименталистскую версию рассказа о Марине Мнишек. Движущей силой поступков исторических лиц автору представляются прежде всего сильные чувства, в том числе негативные, чувства-страсти, сжигающие человека: честолюбие и властолюбие, легкомыслие и ветреность, злоба и отчаяние. Вполне в духе христианского учения эти страсти овладевают человеческой душой и постепенно преображают ее в отрицательную сторону, все более вовлекая в грех и зло. И это дает новые основания для создания сюжета («осюжечивания» исторических фактов). Рассказ о Марине у Карамзина в значительной степени представляет собой историю соблазна и последующего грехопадения героини. Однако историк не рассуждает эксплицитно ни об искушении, «наущении диавольском» и тому подобном, ни об «иезуитском польском заговоре» как о движущей силе событий, предпочитая причину всех бед видеть в человеческом честолюбии, властолюбии и легкомысленном авантюризме. Профиль героини впервые дан у Карамзина в развитии, динамически. Он же первым подчеркивает культурную чужесть Марины московскому обществу.

Бутурлин

Видный сановник и официальный военный историк николаевских времен Д. П. Бутурлин издал первую монографическую «Историю Смутного времени» в трех частях [Бутурлин 1839–1846]. В его распоряжении уже находился большой корпус опубликованных Устряловым в русском переводе западных источников о Смутном времени. Однако по изложению событий «История» Бутурлина немногим отличается от «Истории» Карамзина, а в чем-то представляет собой и шаг назад. В частности, Бутурлин дает пространный очерк антиправославной деятельности иезуитов в Украине еще со времен церковной унии [Там же (1): 55–62]. В них, по мнению историка, и нашел себе опору Лжедмитрий I [Там же: 65–73][22].

[22] Не существует, кстати, прямых доказательств того, что Лжедмитрий I, несмотря на

Первое упоминание Марины у Бутурлина представляет собой переложение другими словами текста Карамзина, даже с сохранением стандартных эпитетов. Ср. следующее описание с приведенной выше цитатой из Карамзина о Мнишеке и его дочери:

> В особенности старец Мнишек горячо заступался за самозванца, будучи привлечен к нему ожиданием важных выгод и почестей для собственного семейства. У него была дочь Марина, юная, прелестная девица. Отрепьев или действительно влюбился в нее, или почел нужным показаться страстным, дабы привязать к судьбе своей одну из знатнейших польских фамилий. Мнишек с живейшим удовольствием мечтал о возможности видеть дочь свою на московском престоле, а Марина, не менее отца своего преданная гордости и честолюбию, старалась также выказывать наклонность к мнимому Димитрию [Там же: 65].

При почти дословных совпадениях лексики («юная, прелестная», «преданная гордости и честолюбию») описание мотивов персонажей у Бутурлина отличается от трактовки Карамзина, у которого Лжедмитрий «вскружил ей (Марине. — *А. Ю.*) голову именем царевича». Для Карамзина юная красавица пока еще вне подозрений, тогда как Бутурлин представляет ее «яблоком, упавшим недалеко от яблони». В психологическом портрете Марины он возвращается, таким образом, к точке зрения Щербатова, также писавшего о ее гордости, дерзновенности и честолюбии, и не рассматривает развития характера героини с ходом лет и событий.

Описывая отцовское благословение на бракосочетание, Бутурлин не говорит, как Щербатов, о простом согласии Мнишека на обоюдное желание молодых, или, как Карамзин, о его радостном благословении их взаимной склонности. Мнишек в рассказе Бутурлина не только горд и авантюрен, но и расчетлив: по возвращении в Самбор после благожелательной аудиенции у короля и тайного перехода в католицизм «Отрепьев стал открыто домогаться руки Марины. Предложения его были приняты с восторгом; однако гордый вельможа не намерен был жертвовать дочерью своей наудачу. Свадьба была отложена до утверждения Лжедмитрия на московском престоле, но между тем воевода Сендомирский взял с него запись» об обязательствах по отношению к тестю и жене после свадьбы; позднее им были вытребованы и другие обязательства о передаче княжеств и городов [Там же: 74].

При въезде Марины в Московию царские чиновники встречают ее, а не отца. Именно она находится в центре внимания рассказа о ее приезде и представляется важнейшей фигурой среди своей двухтысячной свиты. Автор находит, однако, случай упомянуть о «врожденном отвращении»

свои обещания королю Сигизмунду III, сношения с папой и иезуитами и переход в Польше в католичество, действительно планировал католицизацию Московского государства: это могло быть и блефом ради получения помощи. Во всяком случае, его годичная деятельность в качестве московского царя этого не подтверждает.

между «необузданными поляками» и обижаемыми ими по дороге «русскими жителями» [Там же: 200], что, как и общую резко антипольскую направленность текста, видимо, нужно рассматривать уже в контексте российской внутригосударственной ситуации после Польского восстания 1830–1831 гг. Для Щербатова поляки были иностранными подданными (он умер в 1790 г., еще до второго раздела Речи Посполитой в 1793 г.). Карамзин (1766–1826) должен был видеть в них жителей недавно присоединенной к России и относительно автономной территории (третий раздел произошел в 1795 г., позднее Наполеон на короткий срок восстановил польскую государственность; в 1815 г. было образовано Царство Польское в личной унии с Российской империей и с такими атрибутами автономии, как собственные вооруженные силы и денежная единица). Но для государственного сановника конца 1830-х годов Бутурлина современные ему поляки — опасные бунтовщики, чрезвычайно неблагонадежные жители его собственного государства, только что воевавшие с последним и с трудом усмиренные.

Говоря о подготовке к бракосочетанию Марины и Лжедмитрия, Бутурлин ссылается на памятник XVII в. «Сказание и повесть, еже содеяся в царствующем граде Москве и о растриге о Гришке Отрепьеве и о похождении его» (который использовал и Карамзин) и пространнее, чем Карамзин, описывает разногласия, возникшие среди русского духовенства по вопросу брака православного с католичкой[23]. С требованием перекрещивания будущей царицы выступили митрополит Казанский и Свияжский Гермоген и епископ Коломенский Иосиф:

> Патриарх Игнатий изъявил согласие ‹…› не только благословить брак Марины, но даже и венчать ее на царство, каковая почесть дотоле никогда царицам предоставляема не была. Прочее духовенство безмолвствовало, кроме Ермогена, архиепископа Казанского, и Иоасафа[24] епископа Коломенского, которые смело говорили, что если невеста не перекрестится в греческую веру, то брак не можно будет почитать законным. Непреклонные святители обратили на себя гнев расстриги, который приказал выслать Ермогена в Казань и там, лишив его сана, заключить в монастырь. Такую же участь Самозванец готовил и Иоасафу [Бутурлин 1839: 206][25].

[23] Две точки зрения на сей счет сохраняются в церковной среде и до сего дня: хотя нет никаких канонических препятствий для венчания в православном храме с католиком (с точки зрения православной церкви — схизматиком, а не еретиком; обычно, правда, для венчания требуется разрешение епископа), встречаются священники, которые соглашаются венчать смешанные пары только при условии принятия католиком православного крещения, т. е. относятся к католикам как к еретикам. Браки между православными и еретиками запрещены 72-м правилом VI Вселенского Собора.

[24] Вероятно, ошибка Бутурлина.

[25] Ср. то же место у Карамзина: «Патриарх Игнатий был доволен; другие святители молчали, все, кроме митрополита Казанского Ермогена и Коломенского епископа Иосифа, сосланных Расстригою за их смелость: ибо они утверждали, что невесту должно крестить, или женитьба царя будет беззаконием» [Карамзин 1989 (XI): стлб. 152]

Дальнейшее повествование Бутурлина напоминает карамзинское (и восходит к тем же источникам). В нем упоминаются те же ключевые события, вокруг которых строится нарратив. Но версия Бутурлина подробнее, тяжелее стилистически, снабжена долгими перечислениями деталей, например убранства всех трех карет, входивших во въезжавший в Москву поезд Марины. Целиком приводятся тексты исторических документов (писем). Бутурлин никогда не упускает возможности оставить негативное замечание о поляках[26]. Также с самого начала отрицательны его характеристики Марины[27]. Однако ее признание Лжедмитрия II своим мужем представлено результатом как отцовских уговоров, так и ее личной гордости и тщеславия:

> Оставалось единственным средством убедить старого честолюбца Мнишка, чтобы он уговорил дочь свою принять участие в обмане, коего торжество могло еще возвратить ей и всей семье их оплакиваемое ими величие. ‹…› Вероятно, Мнишек, продавая честь дочери своей, много торговался, ибо постыдные пересылки продолжались около двух недель ‹…› Марина с невольным содроганием предстала перед человеком самой грубой наружности и нимало не похожим на умершего супруга ее. Но в горделивом сердце ее омрачение тщеславия скоро превозмогло первоначальные впечатления молодости и женской стыдливости [Там же: 147, 148].

Бутурлин (со ссылкой на своего старшего современника, польского историка Юлиана Немцевича) почти дословно повторяет рассказ о том, как Марина пыталась вновь привлечь войско на сторону бежавшего в Калугу Лжедмитрия II:

> Среди сих козней и переворотов пылкая Марина не оставалась в бездействии. Когда узнала она, что Самозванец утверждается в Калуге, то вознамерилась попытаться снова привлечь тушинцев на его сторону. Отстранив женскую пристойность, она рыдающая, бледная, с распущенными волосами, бегала из ставки в ставку, никого не упрекала, старалась всех ласкать и разжалобить и представляла, что для

[26] Вот типичное замечание подобного рода: «Московские жители, подозрительно смотревшие на многочисленную вооруженную свиту польских панов, были еще более встревожены, когда поляки по прибытии на отведенные им дворы стали с безрассудной гласностию выбирать из повозок своих множество привезенного ими оружия [Бутурлин 1839–1846 (1): 210–211].

[27] Вот описания ее поведения в монастыре в ожидании бракосочетания: «Марина, вместо того, чтобы в кельях монастырских вести жизнь скромную и уединенную, помышляла только об удовлетворении своих прихотей, в чем не получала отказа от жениха. Например так как ей не по вкусу были приносимые из дворца яства, то Лжедимитрий приказал готовить для нее кушанье польским поварам и отдать им ключи от царских запасов и погребов. Для увеселения же невесты своей Самозванец вводил к ней в монастырь скоморохов, скрипачей и песенников, которые шумными забавами нарушали мирную тишину святой обители к большому соблазну набожных москвитян» [Там же: 224–225].

собственной пользы своей им не должно было оставлять супруга ее, от коего одного могут ожидать богатых наград [Там же: 77–78].

Однако о ее бегстве в мужской одежде с отрядом казаков Бутурлин уже не упоминает, да и выражение «отстранив женскую пристойность» звучит куда мягче, чем «забыв пристойность и стыд» в рассказе Татищева, указывая скорее на вынужденную необходимость этого поступка. В целом Марина мало интересует историка, и он выхватывает из ее биографии лишь наиболее яркие и известные эпизоды, без которых в его рассказе невозможно было обойтись.

В книге Бутурлина мы видим влияние рассказа Карамзина, однако Бутурлин значительно резче в суждениях и не особо интересуется внутренней психологической эволюцией героев, присвоив им характеристики раз и навсегда. Он также уделяет больше места и внимания теории иезуитской интриги против русского православия. В его тексте уже хорошо видна схема векового официального нарратива российской истории: мы (русский народ) обладаем некоторой абсолютной духовной / политической / социальной / гуманистической ценностью (истинная православная вера / единственно верная идеология / справедливое общественное устройство / национальный суверенитет и независимость / русский язык и культура…), которую мы обязаны сохранять и защищать, но мы находимся во враждебном окружении, и агенты врага (степные кочевники / немецкие рыцари / монголо-татары / польские и другие иностранные интервенты / подосланные Римом иезуиты и вообще католики и протестанты / шпионы мирового империализма и сионизма / исламские террористы…) постоянно пытаются разрушить нашу страну и подорвать наши ценности. Потому мы всегда находимся под угрозой и вынуждены защищаться, даже нападение для нас — форма самозащиты (хотя мы ни на кого не нападаем). Эта схема превосходит рамки исторических периодов и идеологий и всякий раз наполняется новым содержанием. В официальной версии истории Смутного времени место коварных агентов врага, плетущих сети зла, занято иезуитами (с их планами католицизации Руси), а место агрессоров-интервентов-оккупантов занимают «буйные, гордые и честолюбивые» поляки, обижающие скромных русских. Так реальные исторические факты, подтвержденные документально, становятся частью стандартного исторического нарратива, «осюжечиваются», приобретают некий сверхисторический смысл.

Соловьев

В «Истории России» С. М. Соловьева (годы издания 1851–1879) [Соловьев 1989] профиль интересующего нас персонажа вновь несколько иной. Соловьев склонен к описанию драматических сцен, у него много фактов, но мало исторического анализа и психологизма, он мало интересуется экономикой. Католицизм для него — чужая вера, а русская земля во время

Смуты гибнет от рук *еретиков и ляхов*. Под еретиками он, возможно, имел в виду ариан, в чьей школе учился одно время Лжедмитрий I, но скорее это очередной антикатолический и антилютеранский выпад. Марина его интересует мало. Однако он подчеркивает ее энергичность, активность, одновременно описывая героиню как честолюбивую циничную лицемерку. В отличие от Карамзина, Соловьев верит в беременность Марины.

Лжедмитрий I у Соловьева искренне влюбляется в Марину:

> Отрепьев поражен был явлением, до сих пор ему неизвестным; он увидал старшую дочь воеводы Марианну, или Марину, и легко понять, какое впечатление на молодого человека произвело это энергическое существо, в высшей степени обладавшее теми качествами, которые давали польской женщине такое видное место в обществе [Соловьев 1989: 396].

Здесь появляется новый мотив, не встречавшийся у более ранних историков, но уже вошедший к тому времени в русскую культуру: стереотипный образ энергичной, активной, самостоятельной польки, существенно отличавшейся от русских женщин того времени. Если образ «гордой полячки», запечатленный в знаменитых словах пушкинского Самозванца о Марине: «Довольно, стыдно мне / Пред гордою полячкой унижаться», относился все же к одной исторической женщине (ср. однако уже упомянутые нами честолюбие и «гонор» как главный элемент исторического русского стереотипа поляка), то образ «энергичной польки» стал, уже вероятно в середине XIX в., после полувека трудного сожительства с поляками в одном государстве, стереотипом русской культуры. Итак, профиль Марины у Соловьева, в целом унаследованный у предшественников, обогащается включением распространенного представления о польской женщине и о ее месте в обществе.

Костомаров

Зато в «Русской истории в жизнеописаниях…» (1872) историка того же поколения, что и Соловьев, Н. И. Костомарова (мы ссылаемся на шестое издание [Костомаров 1912]), Марина занимает значительное место. Конечно, причиной тому прежде всего жанр работы, но немаловажно и мировоззрение автора. Методологически сочинение Костомарова, несмотря на его демократические убеждения, относилось для того времени скорее ко вчерашнему дню. Посвященную Марине 25-ю главу своей «Русской истории…» он начинает кратким изложением собственной концепции относительно ее роли в истории:

> Женщина, в начале XVII века игравшая такую видную, но позорную роль в нашей истории, была жалким орудием той римско-католической пропаганды, которая, находясь в руках иезуитов, не останавливалась ни перед какими средствами для проведения заветной идеи подчинения восточной церкви папскому престолу [Там же: 511].

Итак, в мировоззрении Костомарова идея иезуитского заговора, близкая еще В. Н. Татищеву и являющаяся одной из центральных в курсе лекций «Русская история» Н. Г. Устрялова [Устрялов 1839: 131][28], вновь возвращается в качестве важнейшей мотивации, движущей силы и способа объяснения событий вокруг истории первого Лжедмитрия.

Разумеется, роль иезуитов и папского престола в истории Лжедмитрия I подтверждена источниками и общеизвестна (см.: [Dunning 2001: 135; Скрынников 1985: 161–163]). Нас интересует здесь другое: как историки «профилируют» исторические события, выдвигая на первый план то, что кажется им важным, и, напротив, «забывая» и умалчивая неважное. Маловажные для Карамзина, и тем более Ключевского, «иезуитские козни» выходят на первый план у демократа-украинофила Костомарова, для которого сопротивление окатоличиванию в Речи Посполитой ассоциируется с борьбой православных восточных славян за сохранение своей религиозной идентичности. Если для Карамзина Смута — кара Господня за грехи русских, а для Ключевского — результат боярского заговора и сочетания социально-экономических факторов, повлиявших на различные классы общества, для Костомарова она — прежде всего попытка иезуитов и вообще папского престола прибрать к рукам и окатоличить не только Украину, но и саму Москву. И этим априорным идеологическим профилированием истории во многом определено ее дальнейшее изложение.

Сам портретный жанр, разумеется, предполагает особое внимание к психологизму и деталям повседневности. Костомаров подробно описывает Марину как красивую женщину и даже немного симпатизирует ей, считая орудием интриг иезуитов и отца. Но она «суетна и избалована судьбою» [Костомаров 1912: 516]. Костомаров не знает, кто кого влюбил в себя и использовал — Марина Лжедмитрия или наоборот, и вообще была ли это любовь или только плата за помощь ее отца:

> Мы не знаем, до какой степени вначале названый Димитрий сам пленился красотою ‹…› Марины и в какой степени должен был обязаться будущим браком с дочерью пана, который так горячо поддерживал его предприятие [Там же: 511].

Тем не менее историк отвергает польские рассказы о коварном кокетстве Марины, якобы разжигавшей страсть Самозванца. О ее поведении Костомаров пишет:

> Сама Марина, как говорят, вела себя сдержанно и давала понять названому Димитрию, что она тогда только осчастливит его своею лю-

28 «Русскую историю» Устрялова мы здесь не рассматриваем, поскольку Марина Мнишек в ней только несколько раз упоминается без каких-либо деталей и комментариев, а внимание автора сфокусировано на мужчинах: двух Лжедмитриях и Заруцком; к тому же сочинение Устрялова — это скорее обзорное учебное пособие (курс лекций), чем оригинальное историческое исследование.

> бовью, когда он добудет себе престол и тем сделается ее достойным [Там же: 512].

Внешность Марины у Костомарова описана вполне в духе физиогномики романтической литературы:

> Она была с красивыми чертами лица, черными волосами, небольшого роста. Глаза ее блистали отвагою, а тонкие сжатые губы и узкий подбородок придавали что-то сухое и хитрое всей физиономии [Там же].

Однако в целом подробное описание Марининой внешности весьма привлекательно:

> После обручения был обед, а потом бал. «Марина, — говорит один из очевидцев, — была дивно хороша и прелестна в этот вечер в короне из драгоценных камней, расположенных в виде цветов». Московские люди и поляки равно любовались ее стройным станом, быстрыми изящными движениями и роскошными черными волосами, рассыпанными по белому серебристому платью, усыпанному каменьями и жемчугом [Там же: 513].

Очень подробно описаны пышные торжества при ее въезде в Москву. Один из пассажей этого описания заставляет вспомнить о панславистских идеях Кирилло-Мефодиевского общества, в которое входил Костомаров:

> Молодая царица, въезжая в ворота Кремля, казалось, приносила с собою залог великой и счастливой будущности, мира, прочного союза для взаимной безопасности славянских народов, роскошные надежды славы и побед над врагами христианства и образованности. Но то был день обольщения; ложь была подкладкою всего этого мишурного торжества [Там же: 514].

Особенно интересно здесь сочетание «враги христианства и образованности», представляющее центральные ценности автора: христианскую религию и просвещение, цивилизованность.

Вслед за источниками Костомаров особо подчеркивает, что приехавшая в Москву Марина не уважала русских обычаев, не воспринимала московской кухни и не желала одеваться в московское платье, предпочитая, как и сам царь, польское. Она сохраняла верность католицизму и тяготилась необходимостью временного пребывания в «схизматическом монастыре»:

> Царь послал ей для развлечения польских музыкантов и песенников, не обращая внимания, что русские соблазнялись: неслыханное для них было явление — песни и музыка в святой обители; и Димитрий и Марина отнеслись к этому с достойным друг друга легкомыслием [Там же: 515].

Вообще легкомыслие для Костомарова — польская национальная черта. Поляки в Москве изображены гуляками, игроками и любителями женщин, а иногда и бандитами-грабителями, что ожесточало против них русских. Однако поляк-аристократ, военный, не связанный с иезуитами, может вызывать у Костомарова симпатию. О гетмане Жолкевском он, например, пишет следующее:

> Жолкевский был один из немногих в то время благороднейших и честнейших людей в Польше, чуждый иезуитских козней, уважающий права не только своего народа, но и чужих народов, ненавистник насилия, столько же храбрый, сколько умевший держать в порядке войско, великодушный, обходительный и справедливый [Там же: 547–548].

Этот романтический рыцарственный образ эксплицирует некоторые особенности системы ценностей Костомарова, в частности, важное положение в ней идеи прав народа — своего и чужих, идеи, естественной для создателя Кирилло-Мефодиевского братства, мечтавшего о всеславянской федерации, которая, однако, была плохо совместимой с имперской идеологией того времени.

Как и Карамзин и Бутурлин, Костомаров излагает две существовавшие среди московских людей позиции относительно возможности причащения католички в православном храме и брака с ней без перекрещивания:

> После коронования Марина была помазана на царство и причастилась св. Таин.
> Принятие св. Таин по обряду восточной церкви уже делало ее православною: так думал царь и с ним те русские, которые, отрешаясь от строгих взглядов, были снисходительнее к иноверию; но в глазах таких, для которых католики были в равной степени погаными, как жиды и язычники, это было оскорбление святыни [Там же: 516].

Костомаров весьма саркастичен относительно того, как отец фактически продал Марину Лжедмитрию II. Его изложение событий таково:

> Марину 1 сентября привезли против воли в Тушино. Рожинский явился к ней и пригласил в обоз. Марина кричала, что не поедет ни за что. Везти ее насильно оказывалось неудобным, потому что нужно было, чтобы все видели нежную радость супругов при свидании. Пять дней уговаривал Марину Сапега: она не поддавалась. Но Мнишек вместе с Рожинским и Зборовским отправился к вору, и тот обещал ему 300 000 руб. и Северскую землю с четырнадцатью городами. Мнишек продал свою дочь.
> Вор на другой день приехал к Марине. Марина отвернулась от него с омерзением. Паны принуждены были приставить к ней стражу. Но при помощи нежного родителя наконец уговорили Марину. К этому присоединились убеждения какого-то иезуита, который уверял, что с

> ее стороны это будет высокий подвиг в пользу церкви. Марина согласилась играть комедию с условием, что называвший себя Димитрием не будет жить с нею как с женою, пока не овладеет московским престолом [Там же: 521].

Сочетание *нежный родитель* звучит здесь как злая пародия на стиль Карамзина. Мы снова видим профилирование Марины как орудия, управляемого мужчинами: отцом и иезуитами, которые все решают за нее.

Ссылаясь на современника событий (этого места, впрочем, нет в упомянутых выше свидетельствах современников, как и в широко использовавшихся еще Татищевым названных сочинениях Кобежицкого и Пясецкого), Костомаров замечает по поводу того, как Марина бегала по тушинскому лагерю после отъезда Лжедмитрия II и умоляла войско не оставлять ее: «…она не останавливалась ни перед какими средствами, противными женской стыдливости» [Там же: 526]. Знакомый нам мотив забвения приличий и стыда, таким образом, возвращается у Костомарова в профиль Марины вместе с мотивами отцовской власти над ней и иезуитских козней.

В то же время, цитируя источники, Костомаров неоднократно подчеркивает гордость Марины и ее непреклонное убеждение в том, что она — полноправная московская царица [Там же: 525]. Она решительна и целеустремленна, не брезгует никакими средствами в борьбе за власть. Таким образом, она вполне активная историческая личность. Марина разговаривает с гетманом Сапегой на равных и заставляет его уступить; после снятия русской осады Дмитрова, где Марина находилась вместе с Сапегой, она отправляется в Калугу к мужу. На уговоры Сапеги возвратиться в Польшу, чтобы избежать возможного пленения (ср. выше еще одну версию этого ответа у Карамзина), она отвечает:

> «Я царица всей Руси. ‹…› Лучше исчезну здесь, чем со срамом возвращусь к моим ближним в Польшу». «Я вас не пущу против вашей воли», — сказал Сапега. «Никогда этого не будет, — ответила Марина. — Я не позволю собою торговать. Если вы меня не пустите, то я вступлю с вами в битву; у меня 350 казаков».
> Сапега не стал ее удерживать. Она надела польский красный бархатный кафтан, сапоги со шпорами, вооружилась саблею и пистолетом и отправилась в дорогу [Там же: 526–527].

Ср. тот же разговор в версии источника:

> …Сапега убеждал царицу удалиться в Калугу, если не желает отправиться к отцу своему. «Мне ли, царице Всероссийской», сказала ему Марина, «в таком презренном виде явиться к родным моим! Я готова разделить с царем все, что Бог ни пошлет ему». Она решилась ехать в Калугу… [Петрей 1867: 112].

Мы видим, что Костомаров даже подчеркивает гордость и самостоятельность своей героини: из повествования исчезает мотив верности мужу-«царю» и желания разделить с ним его судьбу.

Таким образом, у Костомарова Марина предстает в равной мере пассивным орудием мужчин и активной деятельницей, влекомой собственными страстями, гордостью и жаждой власти. Профиль образа Марины у Костомарова выглядит как своего рода синтез версий предшественников, прежде всего Татищева и Карамзина.

Иловайский

Ультраконсервативный православный монархист Д. И. Иловайский в своей книге о Смутном времени [Иловайский 1894] практически ничего не пишет о Марине[29], кроме упоминания ее в конспективном рассказе о Самозванце: «возможно, служил у Мнишека, был влюблен в Марину и дал себя вовлечь в интригу» [Там же: 4]. Типичные выражения Иловайского, когда он характеризует историю Смуты, — «гнусная польская интрига» [Там же: 260] и «польские козни» [Там же: 261]. Он находится, таким образом, в линии авторов, предпочитавших в истории Смутного времени и самозванчества видеть преимущественно польскую и католическую интригу[30].

Приведем в качестве примера несколько типичных цитат, дающих представление как об авторском стиле и особенностях дискурса, так и об убеждениях Иловайского:

> Адский замысел против Московского государства — замысел, плодом которого явилось самозванство, — возник и осуществился в среде враждебной нам польской и ополяченной западнорусской аристократии. Три фамилии были главными зачинщиками и организаторами этой гнусной польской интриги: коренные католики Мнишки, незадолго изменившие православию Сапеги, и стоявшая уже на пути к ополячению и окатоличению семья Вишневецких. ‹…› Гораздо удобнее могла она [идея самозванства] осуществиться, конечно, не внутри государства, а в такой соседней и неприязненной ему стране, какою была Речь Посполитая с ее своевольным панством и хищным украинским казачеством [Там же: 1–2].

Ясно, что автору с такими взглядами Марина казалась не более чем жалким орудием в руках заклятых врагов Москвы, и сама по себе особого интереса для относительно краткого сочинения Иловайского она не представляла.

---

[29] В его историческом очерке о Лжедмитрии I [Иловайский 1891] Марина Мнишек также только эпизодически упомянута.

[30] Иловайский не был, разумеется, первооткрывателем этой линии в русской историографии. Мы уже упоминали, что сходное объяснение причин Смуты принимал и Карамзин. Истоки правоконсервативного православного дискурса о Смутном времени лежат в конечном счете в «Сказании Авраамия Палицына»; об этом см.: [Флоря 2002: 27–33].

Ключевский

Позитивист Ключевский в своем написанном сухим научным языком пятитомном «Курсе русской истории» (1904–1911; работа писалась в последние десятилетия XIX в.) [Ключевский 1988] интересуется преимущественно движениями больших общественных масс (классов) и вопросами экономики. Царствование Лжедмитрия I он оценивает скорее положительно. С характерным сарказмом он пишет (вслед за известным свидетельством Петрея[31]) о том, что Лжедмитрий «нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в баню» [Там же: 31], подчеркивает легкое отношение Самозванца ко всяким обрядам [Там же: 32]. Причина Смуты для Ключевского — не польско-иезуитская, а московская боярская интрига (против ненавидимого боярами Годунова и его клана). О Лжедмитрии он пишет: «Винили поляков, что они его подстроили, но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве» [Там же: 30]. В качестве методологии Ключевский в духе своего времени применил классовый и экономический анализ исторических событий, рассмотрев, в частности, порядок вхождения в Смуту общественных классов Московского государства.

Марину Мнишек Ключевский в своем курсе даже не упоминает: персонажи такого рода его, очевидно, не интересовали. Разумеется, история вовсе без действующих лиц представима с трудом. Но если уж редуцировать роль отдельных личностей в истории в пользу групповых общественных движений, то из изложения нужно прежде всего вычеркивать персонажи, наименее важные с точки зрения воздействия на массы, а соответственно, на исторические события. Женщина-авантюристка, пусть даже коронованная царица, не имевшая реальной власти и пользовавшаяся всегда достаточно ограниченной и неверной поддержкой, к тому же преимущественно иностранной — польской, а в последние годы жизни почти исключительно казацкой (для Московского государства казаки были, в сущности, иностранцами, так как не являлись подданными царя), — такая персона не имела особого значения для позитивной науки, каковой стремилась стать история.

Платонов

Почти то же самое можно сказать и о не потерявших своего значения до сего дня трудах современника Ключевского С. Ф. Платонова. В своей классической диссертации о Смутном времени [Платонов 1994] (монография впервые издана в 1899 г.) он практически ничего не пишет о Марине Мнишек. Причины Смуты для Платонова — сначала борьба бояр за цар-

[31] Ср.: «После обеда он не ложился спать, как водилось у прежних великих князей и всех русских, а прохаживался в казначейство, аптеки, лавки серебренников. ‹…› Этого никогда не бывало с прежними великими князьями, потому что по москвитянской их величавости и знатности им нельзя было прохаживаться из одной комнаты в другую, разве только с палкой в руке, да заставив водить себя под руку знатных бояр» [Петрей 1867: 209].

ский трон, а затем движение народных масс. Самозванец был в его версии событий также подготовлен не иезуитами и поляками, а самими московскими боярами [Там же: 163]. Платонов, как и Ключевский, подчеркивает безразличие Лжедмитрия к столь важной для московитов обрядовой стороне жизни:

> За попустительство и личный либерализм в сфере обряда и внешнего культа Самозванец получил репутацию еретика, главной целью которого якобы было ниспровержение православия в государстве [Там же: 188–189].

Словечко *якобы* показывает, что сам Платонов вовсе не считает Лжедмитрия борцом против православия и, соответственно, агентом, засланным ради католицизации Московского государства.

* * *

Мы увидели, что в сочинениях историков XVIII–XIX вв. можно выделить различные профили (и тем самым интерпретации исторической роли) нашей героини. Она понималась как 1) (сперва) пассивное орудие честолюбивых планов отца; позднее, когда Марина начинает действовать самостоятельно, иногда в мужской одежде и с оружием, она фактически выходит из состояния женщины, поскольку забывает пристойность и стыд, главные женские добродетели (Татищев); 2) честолюбивая интриганка, подталкиваемая гордостью и властолюбием (Щербатов); 3) легкомысленная красавица, поддавшаяся соблазну собственного честолюбия, давшая гордыне овладеть собой и дошедшая до полного морального падения (Карамзин); 4) «достойная» дочь отца-честолюбца, фактически проданная отцом Лжедмитрию II, но и сама согласившаяся на это из тщеславного желания сохранить положение царицы; 5) также честолюбивая интриганка, но представляющая собой в своей активности типичную польскую женщину, «энергическое существо», занимавшее более значительное, нежели принято в России, место в обществе (Соловьев); 6) суетная, избалованная и легкомысленная, но одновременно гордая и целеустремленная женщина, орудие антирусской интриги иезуитов (в которой принимал участие и отец Марины), средство католической пропаганды и в то же время самостоятельная фигура в борьбе за власть (Костомаров, в сокращенной версии также Иловайский); 7) фигура, не имевшая вообще особого значения для исторического процесса (Ключевский, Платонов).

Центральным интерпретационным выбором для каждого историка в условиях недостатка прямых свидетельств было считать Марину пассивным орудием других людей (мужчин) или активной деятельницей, преследовавшей собственные цели и манипулировавшей мужчинами (либо сочетать элементы обоих образов, придав им хронологическую

последовательность или смешав). Это выбор мог быть определен среди прочего и мерой патриархальности взглядов историка на женщину и ее роль в обществе, а также склонностью автора к общему видению истории либо как череды заговоров, либо как борьбы сильных личностей или же как движения масс и общественных групп.

Названные профили соотносятся с разделяемыми историками «большими» мировоззрениями (классицизм, сентиментализм, романтизм, монархический православный фундаментализм, позитивизм). Объем текста, посвященного героине (от полного молчания или нескольких слов до целых глав) также свидетельствует о степени ее важности в рамках мировоззрения и исторической концепции каждого автора. В некоторых сочинениях, в том числе столь важных для истории вопроса, как работы Ключевского и Платонова, Марина вообще или почти не упоминается, что также является знаком определенной авторской позиции, так сказать, знаковым отсутствием.

В сущности, все названные интерпретации имеют право на существование, поскольку за ними стоит определенная историческая реальность, подтверждаемая источниками. Одновременно они являются результатом авторского профилирования, состоящего в отборе и акцентировании одних и затушевывании других черт персонажа, а также домысливания отсутствующей в источниках информации в соответствии с априорным взглядом историка на материал, взглядом, определенным дискурсивными практиками эпохи, а на более глубоком уровне — мировоззрением и базовой системой ценностей автора. Похоже, что не историк, как «влиятельный автор», диктует своей эпохе способ объяснения фактов и людей прошлого, а наоборот, господствующие идеологические и эстетические системы через порожденные ими дискурсивные практики влияют на историка и определяют его мысли и слова. Мы слышим здесь, как «дискурсивные машины» говорят через отдельных людей.

Литература

Авраамий 1987 — Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря / Подгот. текста Е. И. Ванеевой; Пер. и коммент. Г. М. Прохорова // Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI — начало XVII в. М.: Худ. лит., 1987. С. 162–281.

Анкерсмит 2003 — *Анкерсмит Ф. Р.* История и тропология: взлет и падение метафоры / Пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Катаева. М.: Прогресс-Традиция, 2003.

Бер 1859 — *Бер Мартин*. Летопись Московская с 1584 года по 1612 / Пер. с нем. // Сказания современников о Димитрии Самозванце / Сост., предисл. Н. Г. Устрялова. 3-е изд. Ч. I: Бер, Паерле, Маржерет и Де-Ту. СПб.: Тип. Имп. Академии Наук, 1859. С. 9–143.

Бутурлин 1839–1846 — *Бутурлин Д.* История Смутного времени в России в начале XVII века. Ч. 1. СПб.: Тип. А. Смирдина, 1839. Ч. 2. СПб.: Тип. А. Бородина, 1841. Ч. 3. Тип. К. И. Жернакова, 1846.

Валк 1966 — *Валк С. Н.* О рукописях четвертой части «Истории Российской» В. Н. Татищева // Татищев В. Н. Собр. соч.: В 7 (8) т. Т. 6. М.; Л.: Наука, 1966. С. 54–75.

Дневник 1995 — Дневник Марины Мнишек / Сост., пер., вступит. ст., коммент. В. Н. Козлякова; Коммент. А. А. Севастьянова; Отв. ред. Д. Буланин. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995.

Добряков 1864 — Русская женщина в домонгольский период: Историческое исследование Александра Добрякова. СПб.: Тип. В. Безобразова, 1864.

Иловайский 1891 — *Иловайский Д.И.* Первый Лжедмитрий // Исторический вестник. 1891. Т. 46. № 12. С. 636–667.

Иловайский 1894 — Смутное время Московского государства. Окончание Истории России при первой династии / Соч. Д. Иловайского. М.: Тип. М. Г. Волчанинова, 1894.

Карамзин 1989 — *Карамзин Н. М.* История Государства Российского. Кн. 3. Т. IX–XII. М.: Книга, 1989.

Ключевский 1988 — *Ключевский В. О.* Сочинения: В 9 т. Т. 3: Курс русской истории. Ч. 3. М.: Мысль, 1988.

Копосов 2001 — *Копосов Н. Е.* Как думают историки. М.: Нов. лит. обозрение. 2001.

Костомаров 1912 — *Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1: Господство Дома Св. Владимира. X–XVI-ое столетия. 6-е изд. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1912.

Кром 2010 — *Кром М. М.* «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России 30–40-х годов XVI века. М.: Нов. лит. обозрение, 2010.

Мордовцев 1902 — *Мордовцев Д. Л.* Русские исторические женщины. Популярные рассказы из русской истории: В 2 ч. Ч. 2: Женщины допетровской Руси // Мордовцев Д. Л. Собр. соч. Т. 35. СПб.: Изд. Н. Ф. Мертца, 1902.

Пежемский, Панова 2004 — Пежемский Д. В., Панова Т. Д. Жизнь и смерть Елены Глинской: историко-антропологическое расследование // *Родина*. 2004. № 12. С. 26–31.

Петрей 1867 — История о Великом Княжестве Московском, происхождении великих русских князей, недавних смутах, произведенных там тремя Лжедимитриями, и о московских законах, нравах, правлении, вере и обрядах, которую собрал, описал и обнародовал Петр Петрей де Ерлезунда в Лейпциге 1620 года / Пер. с нем. и предисл. А. Н. Шемякина. М.: Унив. тип. (Катков и К°), 1867 (Отд. оттиск из «Чтений в Имп. Обществе Истории и Древностей Российских», 1865–1867).

Платонов 1994 — *Платонов С. Ф.* Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. (Опыт изучения общественного слоя и сословных отношений в Смутное время). М.: Памятники исторической мысли, 1994.

Потапова 2015 — *Потапова Н. Д.* Лингвистический поворот в историографии: Учебное пособие. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2015.

Пушкарева 1989 — *Пушкарева Н. Л.* Женщины Древней Руси. М.: Мысль, 1989.

Пушкарева 1997 — *Пушкарева Н.Л.* Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX вв.). М.: Ладомир, 1997.

Сандомирская 2001 — *Сандомирская И.* Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик. Wien: *Institut für Slavische Philologie, Universität München*, 2001 (Wiener slawistischer Almanach; Sonderband 50).

Скрынников 1985 — *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII века. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985.

Соловьев 1989 — *Соловьев С. М.* Сочинения: В 18 кн. Кн. IV: История России с древнейших времен. Т. 8. М.: Мысль, 1989.

Татищев 1966 — *Татищев В. Н.* Собр. соч.: В 7 (8) т. Т. 6. М.; Л.: Наука, 1966.

Уайт 2002 — *Уайт Х.* Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной, В. В. Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002.

Устрялов 1831–1834 — Сказания современников о Димитрии Самозванце / Сост., предисл. Н. Г. Устрялова: В 5 ч. СПб.: Тип. Имп. Рос. Академии, 1831–1834.

Устрялов 1839 — Русская история Н. Устрялова. 2-е изд. Ч. 2: Древняя история. СПб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1839.

Устрялов 1859 — Сказания современников о Димитрии Самозванце / Сост., предисл. Н. Г. Устрялова. 3-е изд., испр.: В 2 ч. СПб.: Тип. Имп. Рос. Академии, 1859.

Флоря 2002 — *Флоря Б. Н.* К изучению образа поляка в памятниках Смутного времени // Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М.: Индрик, 2002. С. 27–33.

Хмыров 1862 — *Хмыров М.* Марина Мнишек. СПб.: Спиридонов и Кº, 1862.

Хорев 2000 — Поляки и русские в глазах друг друга / Отв. ред. В. А. Хорев. М.: Индрик, 2000.

Шапошник 2014 — *Шапошник В. В.* Борьба за власть в Москве после смерти Василия III и внешняя политика Русского государства // *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana.*2014. № 1. С. 27–37.

Шашков 1879 — *Шашков С. С.* История русской женщины. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1879.

Шульгин 1850 — О состоянии женщин в России до Петра Великого: Историческое исследование Виталия Шульгина. Киев: Тип. И. Вальнера, 1850.

Щербатов 1904 — Сочинения князя М. М. Щербатова. История российская от древнейших времен / Под ред. И. П. Хрущова, А. Г. Воронова. Т. VII. Ч. 1–2. СПб.: Изд. кн. Б. С. Щербатова, 1904 (1-е изд.: СПб.: Имп. Академия наук, 1790–1791).

Bartmiński 1993a — *Bartminski J.* O profilowaniu pojęć w słowniku etnolingwistycznym // Philologia Slavica: К 70-летию академика Н. И. Толстого. М.: Наука, 1993. С. 12–19.

Bartmiński 1993b — *Bartminski J.* Prawica — lewica. Sposoby profilowania pojęć // Profilowanie pojęć. Wybór prac / Zest. J. Bartmiński. Lublin: UMCS, 1993. S. 147–153.

Bartmiński 2012 — *Bartmiński J.* Aspects of cognitive ethnolinguistics / Ed. by J. Zinken. Sheffield: Equinox, 2012.

Bartmiński, Mazurkiewicz-Brzozowska 1993 —*Bartmiński J., Mazurkiewicz-Brzozowskia M.* LUD. Profile pojęcia i ich konteksty kulturowe // Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne. I / Pod red. J. Bartmińskiego, M. Mazurkiewicz-Brzozowskiej. Lublin: Wyd. UMCS, 1993. S. 213–230.

Bartmiński, Tokarski 1998 — Profilowanie w języku i w tekście / Pod red. J. Bartmińskiego, R. Tokarskiego. Lublin: UMCS, 1998.

Bartmiński, Żuk 2007 — *Bartmiński J., Żuk G*. Polnisch *równość* ‘Gleicheit’ im semantischem Netz. Kognitive Definition der *równość* ‘Gleicheit’ im Polnischen // Normen- und Wertbegriffe in der Verstaendigung zwischen Ost- und Westeuropa / Red. B. Bock, R. Luehr. Frankfurt am Mein; New York: Peter Lang, 2007. S. 33–68.

De Dobbeleer 2011 — *De Dobbeleer M.* Het epos van 1453? Nestor-Iskinders middeleeuws-Russische Verhaal over Constantinopel via literatuurwetenschappelijke (om)wegen: Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Doctor in de Oost-Europese talen en culturen. Gent, 2011.

Dunning 2001 — *Dunning Ch. S. L.* Russia's first civil war: The Time of Troubles and the founding of the Romanov dynasty. University Park, PA: The Pennsylvania State Univ. Press, 2001.

Jenkins, Munslow 2004 — The nature of history reader / Ed. and intr. by K. Jenkins, A. Munslow. London; New York: Routledge, 2004.

Langacker 1987–1991 — *Langacker R. W.* Foundations of cognitive grammar. Vol. 1: Theoretical prerequisites. Stanford: Stanford Univ. Press, 1987. Vol. 2: Descriptive application. Stanford: Stanford Univ. Press, 1991.

Munslow 2006 — *Munslow A*. Deconstructing history. 2nd ed. London; New York: Routledge, 2006.

Pushkareva, Levin 1997 — *Pushkareva N., Levin E.* Women in Russian history from the Tenth to the Twentieth Century. New York: M. E. Sharp, 1997.

Marina Mniszek as viewed by Russian historians of the 17th — early 20th centuries

Yudin, Alexei V.
PhD (Candidate of Science in Philology)
Professor, The Ghent University (Universiteit Gent)
Blandijnberg 2, Gent, 9000, Belgium
Tel.: +32 9 264 78 63
E-mail: Oleksiy.Yudin@UGent.be

Abstract. This paper looks at the image of the Polish aristocratic woman and the crowned Queen of Moscow Marina Mniszek (Marianna / Maryna Mniszchówna / Mniszek) in the writings of the key Russian historians of the 17th — early 20th century: Tatishchev, Shcherbatov, Karamzin, Buturlin, Solov'ev, Kostomarov, Ilovaisky, Kliuchevsky, Platonov. Methodologically, the article builds on the deconstructivist epistemology of history. At the same time, it also deploys the approach and the terminology of cognitive ethnolinguistics (particularly, the idea of the so-called "profiling of concepts"). The text describing historical events is seen as a type of discourse, as a kind of literary genre, and as a representation of a certain ideological system with its inherent axiology and conventional stereotypes. The article describes different types of historical narratives about Marina Mniszek submitted by these historians and different profiles of her image presented in these versions: the patriarchal-rationalist, the sentimentalist, the romantic, the fundamentalist Orthodox. It also provides succinct explanations for the virtual absence of Marina Mniszek's image in the writings of positivist historians.

Keywords: Marina Mniszek, the Time of Troubles, the Russian historiography, epistemology

References

Ankersmit, F. R. (2003). *Istoriia i tropologiia: vzlet i padenie metafory* [Transl. by M. Kukartsev, E. Kolomoets, V. Kataev from: Ankersmit, F. R. (1994). *History* and *tropology*: *The rise and fall of metaphor*. Berkeley: Univ. of California Press]. Moscow: Progress-Traditsiia. (In Russian)

Ber, M. (1859). Letopis' Moskovskaia s 1584 goda po 1612 [Transl. from: Bäer, M. Chronicon Muscoviticum … an. Christi 1584—1612]. In N. G. Ustrialov (Transl., Ed.). *Skazaniia sovremennikov o Dimitrii Samozvantse* [Contemporary reports about Dimitrii the Pretender]. (3rd ed., Part 1), 9–143. St. Petersburg: Tipografiia Imperatorskoi Akademii nauk. (In Russian)

Bartminski, J. (1993a). O profilowaniu pojęć w słowniku etnolingwistycznym. *Philologia Slavica: K 70-letiiu akademika N. I. Tolstogo* [Philologia Slavica: For the 70th anniversary of academician N. I. Tolstoy], 12–19. Moscow: Nauka. (In Polish).

Bartminski, J. (1993b). Prawica — lewica. Sposoby profilowania pojęć. In J. Bartmiński (Ed.) *Profilowanie pojęć: Wybór prac*, 147–153. Lublin: UMCS. (In Polish).

Bartmiński, J. (2012). *Aspects of cognitive ethnolinguistics*. J. Zinken (Ed.). Sheffield: Equinox.

Bartmiński, J., Mazurkiewicz-Brzozowskia, M. (1993). LUD. Profile pojęcia i ich konteksty kulturowe. In J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska (Eds.). *Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne.* (Vol. I), 213–230. Lublin: UMCS. (In Polish).

Bartmiński, J., Żuk, G. (2007). Polnisch równość 'Gleicheit' im semantischem Netz. Kognitive Definition der równość 'Gleicheit' im Polnischen. In B. Bock, R. Luehr (Eds.). *Normen- und Wertbegriffe in der Verstaendigung zwischen Ost- und Westeuropa*, 33–68. Frankfurt am Mein; New York: Peter Lang. (In Polish).

Bartmiński, J., Tokarski, R. (Eds.). (1998). *Profilowanie w języku i w tekście*. Lublin: UMCS. (In Polish).

Bulanin, D. (Ed.), Kozliakov, V. N. (Comp., Transl., Intro. and Comment.), Sevast'ianov, A. A. (Comment.) (1995). *Dnevnik Mariny Mnishek* [Marina Mniszek's diary]. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin. (In Russian).

Buturlin, D. (1839–1846). *Istoriia Smutnogo vremeni v Rossii v nachale XVII veka* [History of the Time of Troubles in Russia in the early 17th century] (Parts 1–3). St. Petersburg: Tipografiia A. Smirdina; Tipografiia A. Borodina, Tipografiia K. I. Zhernakova. (In Russian).

De Dobbeleer, M. (2011). *Het epos van 1453? Nestor-Iskinders middeleeuws-Russische Verhaal over Constantinopel via literatuurwetenschappelijke (om)wegen*: Dissertation thesis for the degree of Doctor of East-European Languages and Cultures. Ghent. (In Netherland).

Dobriakov, A. V. (1864). *Russkaia zhenshchina v domongol'skii period: Istoricheskoe issledovanie*. [The Russian woman of the pre-Mongol era: A historical study]. St. Petersburg: Tipografiia V. Bezobrazova. (In Russian)

Dunning, Ch. S. L. (2001). *Russia's first civil war: The Time of Troubles and the founding of the Romanov dynasty.* University Park, PA: The Pennsylvania State Univ. Press.

Floria, B. N. (2002). K izucheniiu obraza poliaka v pamiatnikakh Smutnogo vremeni [Studying the image of the Pole in monuments from the Time of Troubles]. In B. N. Floria. *Rossiia — Pol'sha. Obrazy i stereotipy v literature i kul'ture* [Russia — Poland. Images and stereotypes in literature and culture], 27–33. Moscow: Indrik. (In Russian)

Ilovaiskii, D. I. (1891). Pervyi Lzhedmitrii [False Dmitrii I]. *Istoricheskii vestnik* [Historical Herald]*, 46*(12), 636–677. (In Russian)

Ilovaiskii, D. I. (1894). Smutnoe vremia Moskovskogo gosudarstva. Okonchanie Istorii Rossii pri pervoi dinastii. [The Time of Troubles of the Muscovite state . The end of Russian history during the period of the first dynasty]. In *Sochineniia D. Ilovaiskogo* [Collected works of D. Ilovaiskii]. Moscow: Tipografiia M. G. Volchaninova. (In Russian).

Jenkins, K., Munslow, A. (Ed. and Intro.) (2004). *The nature of history reader*. London; New York: Routledge.

Karamzin, N. M. (1989). *Istoriia Gosudarstva Rossiiskogo.* [The history of the Russian state] (Book 3, vols. 9–12). Moscow: Kniga. (In Russian)

Khmyrov, M. (1862). *Marina Mnishek* [Marina Mniszek]. St. Petersburg: Spiridonov i Kº. (In Russian).

Khorev, V. A. (Ed.) (2000). *Poliaki i russkie v glazakh drug druga* [Russians and Poles through the eyes of each other]. Moscow Indrik. (In Russian)

Khrushchov, I. P., Voronov, A. G. (Eds.) (1904). *Sochineniia kniazia M. M. Shcherbatova. Istoriia rossiiskaia ot drevneishikh vremen.* [Works of prince M. M. Shcherbatov. History of Russia since ancient times] (Vol. VII, part I–II). St. Petersburg: Izdatel'stvo B. S. Shcherbatova. (In Russian)

Kliuchevskii, V. O. (1988). Kurs russkoi istorii [A course on Russian history]. In V. O. Kliuchevskii. *Sochineniia* [Selected works] (9 vols.). (Vol. 3, part 3). Moscow: Mysl'. (In Russian)

Koposov, N. E. (2001). *Kak dumaiut istoriki.* [How historians think]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)

Kostomarov, N. I. (1912). Gospodstvo Doma Sv. Vladimira. X–XVI-oe stoletiia [The reign of the House of St. Vladimir]. In *Russkaia istoriia v zhizneopisaniiakh ee glavneishikh deiatelei* [Russian history in the biographies of its chief actors] (Book 1). St. Petersburg: Tipografiia M. M. Stasiulevicha. (In Russian)

Krom, M. M. (2010). *"Vdovstvuiushchee tsarstvo": Politicheskii krizis v Rossii 30–40-kh godov XVI veka.* [The "widowed kingdom": The political crisis in Russia of the 1530–40s]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)

Langacker, R. W. (1987–1991). *Foundations of cognitive grammar* (Vols. 1–2). Stanford: Stanford Univ. Press.

Mordovtsev, D. L. (1902). *Russkie istoricheskie zhenshchiny. Populiarnye rasskazy iz russkoi istorii* [Russian historical women. Popular stories from Russian history] (Part 2). In D. L. Mordovtsev. *Sobranie sochinenii* [Collected works](Vol. 35). St. Petersburg: Izdatel'stvo N. F. Merttsa. (In Russian).

Munslow, A. (2006). *Deconstructing history* (2nd ed.). London; New York: Routledge.

Petrei, P. (1867). *Istoriia o Velikom Kniazhestve Moskovskom, proiskhozhdenii velikikh russkikh kniazei, nedavnikh smutakh, proizvedennykh tam tremia Lzhedimitriiami, i o moskovskikh zakonakh, nravakh, pravlenii, vere i obriadakh, kotoruiu sobral, opisal i obnarodoval Petr Petrei de Erlezunda v Leiptsige 1620 goda* [History of the Great Principality of

Moscow, of the ancestry of the Russian great princes, of the recent troubles, caused by the three false Dimitris, and of Muscovite laws, customs, government, religion and rituals. Collected, described and published by Petrus Petrejus de Erlesunda, in Leipzig, 1620]. A. N. Shemiakin (Transl. from German, Preface). (Reprint from the "Readings in Imperial Society of Russian History and Antiquities", 1865–1867). Moscow: Universitetskaia Tipografiia. (Katkov and Co). (In Russian)

Pezhemskii, D. V., Panova, T. D. (2004). *Zhizn' i smert' Eleny Glinskoi: istoriko-antropologicheskoe rassledovanie* [The life and death of Elena Glinskaya: Historical and anthropological investigation]. *Rodina* [Motherland]*, 2004*(12), 26–31. (In Russian)

Platonov, S. F. (1994). *Ocherki po istorii Smuty v Moskovskom gosudarstve XVI–XVII vv. (Opyt izucheniia obshchestvennogo sloia i soslovnykh otnoshenii v Smutnoe vremia)* [Essays on the history of the Time of Troubles in the Moscow State of the 16–17th centuries. Studying social order and relations between estates during the Time of Trouble]. Moscow: Pamiatniki istoricheskoi mysli. (In Russian)

Potapova, N. D. (2015). *Lingvisticheskii povorot v istoriografii: Uchebnoe posobie* [The Linguistic turn in historiography: A textbook]. St. Petersburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge. (In Russian)

Pushkareva N., Levin E. (1997). *Women in Russian history from the Tenth to the Twentieth century.* New York: M. E. Sharpe.

Pushkareva, N. L. (1989). *Zhenshchiny Drevnei Rusi*.[Women of Ancient Rus']. Moscow: Mysl'. (In Russian).

Pushkareva, N. L. (1997). *Chastnaia zhizn' russkoi zhenshchiny: nevesta, zhena, liubovnitsa (X — nachalo XIX vv.)* [The private lives of Russian women: The bride, the wife, the mistress (X — early XIX century]. Moscow: Ladomir. (In Russian)

Sandomirskaia, I. (2001). *Kniga o Rodine. Opyt analiza diskursivnykh praktik* [A book about the Motherland: Analyzing discursive practices]. Wiener Slawistischer Almanach, Sbd. 50. Wien: Institut für Slavische Philologie, Universität München (In Russian).

Shaposhnik, V. V. (2014). Bor'ba za vlast' v Moskve posle smerti Vasiliia III i vneshniaia politika Russkogo gosudarstva [The Power Struggle in Moscow after the Death of Vasily III and Foreign Policy of the Russian State]. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*, no. 1, 27–37. (In Russian).

Shashkov, S. S. (1879). *Istoriia russkoi zhenshchiny.* [The history of the Russian woman]. St. Petersburg: Tipografiia A. S. Suvorina. (In Russian)

Shul'gin V. (1850). *O sostoianii zhenshchin v Rossii do Petra Velikogo: Istoricheskoe issledovanie* [On the condition of women in Russia before Peter the Great: A historical study]. Kiev: Tipografiia I. Val'nera. (In Russian)

Skrynnikov, R. G.(1985). *Sotsial'no-politicheskaia bor'ba v Russkom gosudarstve v nachale XVII veka* [Socio-political struggle in the Russian State in the early 17th century]. Leningrad: Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta. (In Russian).

Solov'ev, S. M. (1989). *Sochineniia* [Works] (Book 4, vol. 8: *Istoriia Rossii s drevneishikh vremen*) [The history of Russia from ancient times]. Moscow: Mysl'. (In Russian).

Tatishchev, V. N. (1966). *Sobranie sochinenii* [Collected works] (Vols. 1–7 (8)). Moscow, Leningrad: Nauka. (In Russian).

Uait, Kh. (2002). *Metaistoriia. Istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka* [Transl. from: White, H. (1973), Metahistory: *The historical imagination in 19th-century Europe*. Baltimore: John Hopkins Univ. Press]. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo Universiteta. (In Russian)

Ustrialov, N.G. (Comp.) (1859). *Skazaniia sovremennikov o Dimitrii Samozvantse* [Contemporary reports about Dimitrii the Pretender]. N. G. Ustrialov (Pref.). St. Petersburg: Tipografiia Imperatorskoi Rossiiskoi Akademii. (In Russian)

Valk, S. N. (1966). O rukopisiakh chetvertoi chasti "Istorii Rossiiskoi" V. N. Tatishcheva [On the manuscripts of the 4th part of "Russian History" by V. N. Tatishchev]. In Tatishchev V. N. *Sobranie sochinenii* [Collected works] (Vol. 6), 54–75. Moscow, Leningrad: Nauka. (In Russian)

Vaneeva, E. I. (Comp.), Prokhorov, G. M. (Transl. and Comment.) (1987). Skazanie Avraamiia Palitsyna ob osade Troitse-Sergieva monastyria [Avraamy Palitsyn's tale about the siege of the Trinity-St. Sergius monastery]. In *Pamiatniki literatury Drevnei Rusi: Konets XVI — nachalo XVII v.* [Literary monuments of Old Rus': Late 16th — early 17th century], 162–281. Moscow: Khudozhestvennaia literatura. (In Russian).

Yudin, A. V. (2016). Marina Mniszek as viewed by Russian historians of the 17th — early 20th centuries. *Shagi / Steps, 2*(4), 60–95